

уголовной преступности на контролируемых этой полицией территориях резко упал по сравнению с советскими временами, притом что личный состав полиции был много меньше прежнего милицейского, а делопроизводство было предельно упрощено. Это, разумеется, не доказательство, но сильный намек на большую эффективность этих органов в охране общественного порядка.

И напоследок самый интригующий пример — по сути, то, с чего я и начал: «...с 3 сентября по 11 октября 1941 года городской управой Старой Руссы частным лицам были проданы некоторые городские объекты, имеющие производственное значение (всего 36 строений на сумму 18 тыс. 400 рублей). Как выяснилось после проведенного полицией расследования, объекты передавались гражданам без осмотра и по явно заниженным расценкам. В результате злоупотреблений со стороны должностных лиц (городского головы Быкова, его за-

местителя Чурилова, заведомо снабжения Жуковского, инженеров Дробницкого и Захарова) некая госпожа Аксенова стала владелицей такого стратегически важного объекта, как электростанция, а господин Васильев получил гончарный завод. Следствие установило, что действительная стоимость этих объектов исчислялась в сумме 75 тыс. 400 рублей. По предъявлению полиции были признаны подлежащими аннулированию шесть сделок, 21 сделка была оставлена в силе как не поддающаяся проверке из-за уничтожения объектов, по семи сделкам предлагалось потребовать доплату у владельцев по действительной стоимости незаконно приобретенных объектов».

Выходит, приватизацию на оккупированной территории все-таки пытались провести. А если так, то по каким правилам? На основании каких нормативных актов? И что за люди покупали заводы и электростанции осенью 1941 года? Узнать бы об этом побольше.

Лев Усыскин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Антон Олейник. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» годов / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2011. — 438 с.

СОЦИОЛОГ СРЕДИ ЭКОНОМИСТОВ,
ЭКОНОМИСТ СРЕДИ СОЦИОЛОГОВ

Антон Олейник является социологом и экономистом как с формальной, так и с содержательной точек зрения. Кандидат экономических наук, сотрудник факультета эко-

номики НИУ ВШЭ, в Канаде Олейник — доктор социологии и профессор кафедры социологии Университета Мемориал. Как экономист он стал известен в качестве автора од-

ного из первых в России учебников по институциональной экономике, как социолог — в качестве исследователя тюремных субкультур. В деловой прессе его также знают как публициста, равно увлекательно пишущего для «Ведомостей» и, например, для газеты «Киевская правда».

Такое положение автора имеет как положительные, так и неизбежные негативные эффекты для его новой книги о социально-экономическом господстве в России 2000-х. С одной стороны, выход за пределы одной научной дисциплины позволяет ему преодолевать тернии повседневного академического знания, выдвигая неожиданные идеи, гипотезы и оригинальные способы их верификации. С другой — в применении профессионального исследователя такой подход с неизбежностью порождает множество проблем, главная из которых — проблема читателя. Текст книги перегружен терминологией и концепциями, о которых читатель может узнать разве что на старших курсах университета, и то учась на двух факультетах одновременно. В наши дни довольно сложно найти, например, экономиста, относительно свободно ориентирующегося в тонкостях социальных концепций власти М. Фуко и П. Бурдьё (у последнего Олейник, кроме прочего, заимствует методологию для эмпирической части своего исследования, пытаясь понять, как различные «социальные поля» взаимодействуют друг с другом в одном из российских регионов). Ничуть не проще отыскать социолога, который разбирался бы в модели поиска ренты Мёрфи–Шлейфера–Вишны или моделях социального капитала П. Дасгупты. И хотя в стремлении подготовить читателя автор пытается

начать издали, делая подробные экскурсы в теорию, методологию и историю вопроса, для многих социологов и экономистов, не говоря уже про лиц других профессий, эта книга останется непонятой.

Любую междисциплинарную работу подстерегает и другая опасность — перекрестная критика. Так, например, экономисты по традиции не считают работу научной без многоэтажных математических выкладок, формальных моделей и их эмпирической проверки через сложные количественные оценки с использованием множественных регрессий, пробит- и логит-моделей и прочих изысков эконометрики. Пусть и не восьмиэтажные формулы в книге все равно присутствуют. Другое дело, что относятся они к не вполне традиционной технике количественного анализа качественных данных, полученных в ходе двух серий интервью с представителями государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества. А попытки поиска корреляций между различными упоминаемыми респондентами словами по меркам статистического экономиста вообще являются делом неслыханным.

Правда, от некоторых обвинений в возможной ненаучности или неадекватности примененных методов с обеих сторон автора спасает то, что рецензентами книги выступили Александр Либман, один из флагманов сегодняшнего экономико-математического мейнстрима, и не менее авторитетный политический социолог Валерий Ледаев.

В любом случае на страницах книги читатель встретит данные об «источниках гордости и стыда в истории России» (306), о коэффициентах концентрации нефтяной промышленности, о конфигураци-

ях ограничения своекорыстного поведения чиновников, о зависимости объема внешней торговли от ресурсной ренты (оборота розничной торговли и ВРП), о средней продолжительности войн при деспотических и не деспотических режимах в России, о частотности упоминания термина «цепь поставок» в темах публикаций англоязычных журналов по управленческим наукам, о количестве браков и разводов в России за последние 20 лет, об отношении числа заключенных к совокупному населению СССР и многом другом. Разнородность приводимых данных утяжеляет текст существенно более, чем занимательный и читающийся на одном дыхании упомянутый учебник по институциональной экономике.

Сама книга построена по модному по теперешним академиче-

ским временам принципу, когда каждая глава была ранее выпущена отдельной статьей, как, например, легендарная *Economic Origins of Democracy and Dictatorship* Д. Асмоглу и Дж. Робинсона или же *This Time is Different: A Panorama of Eight Centuries of Financial Crises* К. Погофа. Следуя доброй среди «востребованных» мировым сообществом российских экономистов традиции, книга русскоязычного автора выходит в виде перевода с английского, а название «Власть и рынок», видимо, отсылает к недавно вышедшей по-русски под таким же названием книге М. Ротбарда, представителя австрийской школы — школы отрицания математики в экономических исследованиях.

Итак, как же, по мнению автора, реализуется система господства-подчинения в современной России?

СОЛИДНОЕ ГОСПОДСТВО ДЛЯ СОЛИДНЫХ ГОСПОД

Господство в современном российском обществе, согласно анализу Олейника, обеспечивается во все не дубинками, идеологией или даже широтой аудитории государственных СМИ (вещами довольно дорогостоящими и одновременно ненадежными). Его истоки следует искать в сфере экономики. Однако при ближайшем рассмотрении здесь оно оказывается совсем не таким, каким в свое время описывал его Маркс. Это господство основано на использовании сохраняющихся в структуре российской экономики рыночных диспропорций, во многом унаследованных от СССР, и «целенаправленной деятельности лиц, обладающих властью, по воспроизведению и усилению» их (30). При чем подобная модель господства

на основе «исключительно экономических средств» (17) реализуется как внутри страны, так и в отношениях с внешними партнерами.

Современная внешняя политика России является специфическим типом меркантилизма, предполагающим «превращение существующих перекосов в структурах международного рынка в ресурс для укрепления власти» (23). Получается, что единственным отличием внутренней политики российского государства от внешней является контролируемый рынок: национальный или международный. По мнению автора, такое поведение в принципе характерно для любых стран, однако далеко не у всех из них хватает на это ресурсов. Так, например, в 2008 году Россия обеспечила 42% всех поста-

вок природного газа в страны ЕС, в то время как ее ближайший конкурент Норвегия — всего 24%.

Какие субъекты содействуют воспроизводству этих перекосов? В одной из глав Олейник показывает, что определенной выгоду из такой системы отношений извлекают почти все участники взаимодействия: и власть, и чиновники, и бизнес, и простые граждане. Однако, как и в любом другом обществе, особую роль здесь играют элиты, то есть те, кто регулируют рынки и устанавливают правила игры на них. Классификаций различных типов элит существует множество, однако наиболее выраженной в ответах респондентов исследования Олейника (людей, которые, как правило, сами работают в органах государственной власти) оказалось деление на силовиков и либералов. Либералы в сознании большинства респондентов выступают сторонниками политики *laissez-faire* и выходцами из экономического блока правительства, силовики ассоциируются со структурами ФСБ, МВД и МЧС. Более того, полученные в ходе проведенных интервью данные позволяют автору сделать интересный вывод о том, что

«членство в каждой из двух групп зависит в меньшей степени от формальных связей с тем или иным министерством... и в большей — от использования особой „общей модели мира“ (*shared mental model*)» (47).

При этом акценты на служении в позициях силовиков и на прагматизме в позициях либералов отнюдь не противопоставляются друг другу. Наоборот, поведение представителей обеих групп может быть взаимодополняющим в деле преобразования рынка в механизм воспроизводства власти. «Ни одна из этих групп, по сути, не заинтересована в полном избавлении от соперников ввиду частично взаимодополняющего, частично взаимоисключающего характера их знаний и умений. Обеспечение продолжающегося воспроизводства власти, главная задача силовиков, требует глубоких знаний по экономическим вопросам, которыми они не обладают» (48). Вместе с тем максимизация прибыли, основная забота либералов, облегчается за счет использования и сознательного углубления перекосов в рыночной структуре, что делает востребованными отсутствующие у либералов навыки контроля.

ОРУЖИЕ РЫНКА: МОГУТ ЛИ ОБЪЕКТЫ ГОСПОДСТВА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОРОШО?

Вторым способом господства (который, впрочем, связан с первым), актуальным в современных российских реалиях, является доминирование «в результате сочетания интересов» (59). Автор обращает наше внимание на то, что эта схема может реализоваться на различных экономических полях, и выигрывают от нее не одни и те же люди. В про-

стейшем виде она выглядит следующим образом.

На экономическом поле (читай — конкретном рынке) существуют три типа акторов: производители, потребители и «охранник на входе», то есть структура, которая регулирует правила игры. «Охранник» решает, кого из производителей пускать на рынок. В качестве иллю-

страции можно привести пример взаимоотношений на рынке розничной торговли. Розничная сеть контролирует доступ производителей на рынок. Чтобы получить доступ, производитель должен купить «входной билет» (место на полке для своего товара), а покупатель принимает решение, стоит ли ему покупать товар. Олейник замечает, что такая простая схема становится возможной в процессе формирования общества потребления, «когда совокупное предложение имеет тенденцию превышать совокупный спрос» (197).

В таком обществе сетевой супермаркет становится тем, что Т. Шеллинг называл фокальной точкой, местом, «где производители встречаются с потребителями». Наличие фокальных точек облегчает координацию: покупателю не нужно идти в разные магазины за разными по типу товарами и не нужно сравнивать огромное число схожих товаров в одном месте — он сравнивает лишь то, что лежит на полках. Вообще говоря, такая система позволяет потребителю снижать издержки на приобретение товара. Причем фокальных точек не может быть много, иначе они начинают работать прямо противоположным способом — усложнять координацию вместо ее облегчения. Поэтому, когда торговая сеть ограничивает число товаров, представленных на полках своих магазинов, а, например, федеральное агентство сужает круг торговых сетей на территории страны, это отвечает как интересам тех игроков, которые уже работают на рынке (меньше конкуренции — больше прибыли), так и интересам покупателей.

Более того, если речь идет не об узко специализированных феде-

ральных агентствах и ведомствах, но об администрациях — региональных, федеральных, муниципальных, — то часть получаемой от «продажи билетов» ренты, как правило, перераспределяется в пользу потребителей, например, через программы социально-экономической поддержки, делая простого гражданина (потребителя и избирателя) заинтересованным в сохранении статус-кво. Вообще региональная власть может извлекать ренту и за счет повышения налогов, однако такие доходы «подвержены значительно более строгому учету со стороны федерального правительства» (265). По оценке одного из респондентов исследования Олейника, в регионе *N* удельный вес таких средств составляет 24–25% от регионального бюджета. Часть этой величины направляется на «покупку лояльности» граждан, а вторая — на инвестиции в проекты, направленные на укрепление собственных господствующих позиций.

Такая система оказывается выгодна всем, кроме двух аутсайдеров: сетей, не вошедших на рынок, и производителей, которые не смогли «купить полку» для своего товара. Однако в абсолютном отношении лишь «охранники на входе» занимаются (в экономическом смысле) максимизацией своей полезности, в то время как производители и потребители минимизируют упущенные возможности.

На примере ситуаций в российской розничной торговле одного из российских регионов автор иллюстрирует ту идею, что «господство... зиждется прежде всего на способности контролировать доступ к месту встречи производителей и потребителей, а не на правах собственности на те или иные активы» (197).

На стабильность любой институционализированной системы господства всегда оказывают серьезное влияние внешние шоки. В контексте постсоциалистических реформ речь чаще всего идет о перенятии развивающимися странами институциональных образцов стран-лидеров. Однако, по мнению Олейника, пример взаимоотношений (пост)советской России с западными странами показывает, почему такое описание является более чем однобоким.

Взаимное влияние обеспечивается в первую очередь контактами между «властвующими элитами вовлеченных в институциональные трансферты стран, как „экспортеров“, так и „импортеров“» (335). Причем процесс взаимного обучения может проходить как напрямую, так и опосредованно. После развала СССР частота прямых контактов значительно возросла, что повысило качество усвоения специфики принятых в стране-партнере правил игры. Российская элита быстро освоила принципы осуществления господства через рыночные механизмы, элиты западных стран тоже обогатили свой «поведенческий арсенал». Так, Сильвио Берлускони и Герхард Шрёдер после поражения на выборах в Италии и Германии соответственно про-

демонстрировали чисто русскую склонность к «окапыванию в офисах» (324), отказавшись поначалу признать чужую победу и освободить занимаемые административные помещения.

Сюда же относятся и активно перенимаемые нормы ведения «бизнеса без оглядки на закон и этические принципы». Олейник проводит параллели между распространенным в России 1990-х годов «бизнесом по понятиям» и скандалами вокруг американских фирм *Enron* и *WorldCom* (331).

Похожим путем пошли и европейские структуры в области энергетики, действия которых после известного «газового конфликта» между Россией и Украиной были «направлены на усиление государственного регулирования рынков стран — членов ЕС, в том числе за счет государственных интервенций и контроля доступа на рынок» (335).

Иными словами, институциональный обмен между российской и западной политическими элитами имел по большому счету негативный эффект для всех. Для обозначения этого эффекта автор использует метафору «водки с колой», смешение каковых национальных напитков приводит к невеселым последствиям.

УСТОЙЧИВО ЛИ ГОСПОДСТВО В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЧЕТАНИЯ ИНТЕРЕСОВ?

Если в основе современной социально-политической системы в России лежит логика экономического господства, то встает вопрос об устойчивости такой системы. Экономика с ее фазами роста и спада,

глобальными — и оттого сверхволатильными — рынками и глубокими кризисами никогда не отличается стабильностью. Одна бизнес-стратегия может обеспечить процветание фирмы сегодня и ее банк-

ротство завтра. Контроль доступа может иметь смысл, только когда акторам выгоднее войти на рынок, чем оставаться за его пределами. Иначе говоря, «актеры имеют больше возможностей для получения прибыли или большей полезности на рынке с контролируемым доступом, чем в иных местах» (336).

Но в период кризиса экономические игроки имеют дело не с прибылью, а с убытками. Кажется, что в подобном случае «охранник на входе» не может рассчитывать на получение своих дивидендов: экономический агент «направляется к выходу вместо того, чтобы толпиться в очереди на вход». Однако здесь на помощь системе господства приходят структурные перекосы, которые в кризисные времена обуславливают потребность в государственных инвестициях в любой стране, будь то Россия, США или Китай. «Если контроль доступа к рынку теряет смысл в период кризиса, то кон-

троль доступа к распределяемым правительством средствам, наоборот, его приобретает. Доступ к государственным субсидиям и займам на выгодных условиях становится вопросом жизни и смерти для большинства частных компаний» (336–337). В уже сложившейся системе господства возникает новое сочетание интересов: бизнес заинтересован «в доступе к полю» для получения государственной поддержки, потребители заинтересованы в работе бизнеса, который обеспечивает их рабочими местами, а «охранник на входе» использует свою позицию для перераспределения средств и укрепления своей власти.

Переход от первого сочетания интересов ко второму может продолжаться довольно долго. Особенно если вспомнить фразу одного сотрудника администрации президента, вынесенную в эпиграф книги: «Монету чеканит власть».

Антон Соболев

ЖИЖЕК И НЕМЦЫ, ИЛИ ПУСТОТА ДЕМОКРАТИИ

Markus Gabriel, Slavoj Žižek. *Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism*. L.: Continuum, 2009. — 208 p.

Уильям Теккерей в одном из «Ирландских очерков» предлагает читателю сравнить ирландский и английский взгляд на мир — буквально сквозь окно на постоялом дворе. В то время как поднятое английское окно не нуждается в посторонней помощи и остается открытым благодаря собственным тросам и противовесу, ирландское держится на швабре, которой заботливая горничная его подпирает. Случись что-нибудь со шваброй, и смотря-

щий из окна незадачливый постоялец тотчас лишится головы. Такого же рода пустота (отсутствие какой бы то ни было прочной, случайной опоры) и такого же рода момент антропологического решения (высовываться или не высовываться из окна) лежат в основании проекта, провозглашаемого книгой Славоя Жижека и Маркуса Габриэля «Мифология, безумие и смех: субъективность в немецком идеализме». Программа книги, как она

дана в предисловии, — не просто интерпретация философий Шеллинга, Гегеля и Фихте, но основание «новой онтологии» (5), а заодно, можно сказать, и новой антропологии — в духе радикальной демократии, то есть основания на *пустоте, конечности и случайности*. Недаром Габриэлю, по его признанию, так близок Виктор Пелевин, автор «Чапаева и пустоты».

Именно Габриэлю принадлежит первая глава книги, посвященная Шеллингу; другие две, о Гегеле и Фихте, написаны Жижеком. Претензия этой книги в том, чтобы охватить весь немецкий идеализм, притом и онтологически, и антропологически. Габриэль взят Жижеком в соавторы, видимо, для того, чтобы в этой схеме отвечать за онтологию. Поскольку это несколько насильственная интерпретация немецкого идеализма, вписывание его в определенный демократический проект, его приспособление под нужды такого политического проекта, не станем оценивать историко-философскую концепцию книги и вдаваться в историко-философские подробности. Не будем и стремиться выявлять источники, проводить аналогии или проверять новизну работы. Поставим задачу иначе: посмотрим, чем, согласно авторам, является «новая онтология», утверждаемая именно как «радикально демократическая» (72), и попытаемся выявить, какими у них на деле выходят демократический субъект и демократическая антропология.

По Габриэлю, поистине демократическая онтология не может не быть основана на пустоте. Начало мира есть пустота (*void*), и «станция мира бессубстанциальна» (85). Само *ничто*, которое, утвер-

ждает Габриэль, и есть мир в его основе, впервые становится *чем-то* в результате нашей «непрестанной деятельности по именованию пустоты» (17). Мир несводим к одному субстанциальному владению (*domain*), и в какой бы логическое пространство мы его ни вписывали, какие бы подмножества ни вычленили в нем сколь угодно рациональным образом, мы всегда будем наталкиваться на то, что противится овладению, на тот неделимый остаток, который Габриэль вслед за определенным образом понятием Шеллингом называет «мифом». «Мифология — имя голого факта существования некоторого логического пространства, факта, не описываемого в логических терминах» (20). Этот голый факт, не схватываемый рационально, есть в то же время исток всякой рациональности, изначальный избыток пустоты, из которого рождается факт познаваемости мира. Жест мифологии указывает на пустоту, эта пустота есть миф, а миф этот и есть, по сути, ирландская швабра: случайность, на которой держится вся совокупность правил, процедур и норм, управляющих нашим мышлением и действием.

Миф, иначе говоря, — это событие, задающее определенный язык, набор метафор и правил игры, согласно которым разворачивается данная, наличная рациональность. Само это событие у Габриэля «демократично»: миф есть пустой, случайный и частный онтологический момент решения, не притязающий ни на какую абсолютность, случайным образом производящий именно такой язык описания мира, а не равно возможный другой. По существу, это и не основание вовсе, но лишь «фактичность»,